

ПОДРОСТОК

Глава шестая

<...>

III

— Я просто вам всем хочу рассказать, — начал я с самым развязнейшим видом, — о том, как один отец в первый раз встретился с своим милым сыном; это именно случилось «там, где ты рос»...

— Друг мой, а это будет... не скучно? Ты знаешь: *tous les genres*...¹

— Не хмурьтесь, Андрей Петрович, я вовсе не с тем, что вы думаете. Я именно хочу, чтоб все смеялись.

— Да услышит же тебя бог, мой милый. Я знаю, что ты всех нас любишь и... не захочешь расстроить наш вечер, — промямлил он как-то выделанно, небрежно.

— Вы, конечно, и тут угадали по лицу, что я вас люблю?

— Да, отчасти и по лицу.

— Ну, а я так по лицу Татьяны Павловны давно угадал, что она в меня влюблена. Не смотрите так зверски на меня, Татьяна Павловна, лучше смеяться! Лучше смеяться!

Она вдруг быстро ко мне повернулась и пронзительно с полминуты в меня всматривалась.

— Смотри ты! — погрозила она мне пальцем, но так серьезно, что это вовсе не могло уже относиться к моей глупой шутке, а было предостережением в чем-то другом: «Не вздумал ли уж начинать?»

— Андрей Петрович, так неужели вы не помните, как мы с вами встретились, в первый раз в жизни?

— Ей-богу, забыл, мой друг, и от души виноват. Я помню лишь, что это было как-то очень давно и происходило где-то...

— Мама, а не помните ли вы, как вы были в деревне, где я рос, кажется, до шести — или семилетнего моего возраста, и, главное, были ли вы в этой деревне в самом деле когда-нибудь, или мне только как во сне мерещится, что я вас в первый раз там увидел? Я вас давно уже хотел об этом спросить, да откладывал; теперь время пришло.

— Как же, Аркашенька, как же! да, я там у Варвары Степановны три раза гостила; в первый раз приезжала, когда тебе всего годочек от роду был, во второй — когда тебе четвертый годок пошел, а потом — когда тебе шесть годков минуло.

— Ну вот, я вас весь месяц и хотел об этом спросить.

Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня:

— Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?

¹ все жанры... (франц.)

— Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь, и, кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Я всю эту деревню как во сне теперь вижу, я даже свою няньку забыл. Эту Варвару Степановну запомнил капельку потому только, что у ней вечно были подвязаны зубы. Помню еще около дома огромные деревья, липы кажется, потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами, дорожку, а вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно...

— Господи! Это всё так и было, — сплеснула мать руками, — и голубочка того как есть помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, голубок!»

— Ваше лицо, или что-то от него, выражение, до того у меня осталось в памяти, что лет пять спустя, в Москве, я тотчас признал вас, хоть мне и никто не сказал тогда, что вы моя мать. А когда я с Андреем Петровичем в первый раз встретился, то взяли меня от Андрониковых; у них я вплоть до того тихо и весело прозябал лет пять сряду. Их казенную квартиру до мелочи помню, и всех этих дам и девиц, которые теперь все так здесь постарели, и полный дом, и самого Андроникова, как он всю провизию, птиц, судаков и поросят, сам из города в кульках привозил, а за столом, вместо супруги, которая всё чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый. Там меня барышни по-французски научили, но больше всего я любил басни Крылова, заучил их множество наизусть и каждый день декламировал по басне Андроникову, прямо входя к нему в его крошечный кабинет, занят он был или нет. Ну вот, из-за басни же и с вами познакомился, Андрей Петрович... Я вижу, вы начинаете припоминать.

— Кое-что припоминаю, мой милый, именно ты что-то мне тогда рассказал... басню или из «Горе от ума», кажется? Какая же у тебя память, однако!

— Память! Еще бы! Я только это одно всю жизнь и помнил.

— Хорошо, хорошо, мой милый, ты меня даже оживляешь.

Он даже улыбнулся, тотчас же за ним стали улыбаться и мать и сестра. Доверчивость возвращалась; но Татьяна Павловна, расставив на столе гостинцы и усевшись в углу, продолжала пронизать меня дурным взглядом.

— Случилось так, — продолжал я, — что вдруг, в одно прекрасное утро, явилась за мною друг моего детства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизни внезапно, как на театре, и меня повезли в карете и привезли в один барский дом, в пышную квартиру. Вы остановились тогда у Фанариотовой, Андрей Петрович, в ее пустом доме, который она у вас же когда-то и купила; сама же в то время была за границей. Я всё носил курточки; тут вдруг меня одели в хорошенький синий сюртучок и в превосходное белье. Татьяна Павловна хлопотала около меня весь тот день и покупала мне много вещей; я же всё ходил по всем пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала. Вот таким-то образом я на другое утро, часов в десять, бродя по квартире, зашел вдруг, совсем невзначай, к вам в кабинет. Я уже и накануне вас видел, когда меня только что

привезли, но лишь мельком, на лестнице. Вы сходили с лестницы, чтобы сесть в карету и куда-то ехать; в Москву вы прибыли тогда один, после чрезвычайно долгого отсутствия и на короткое время, так что вас всюду расхватили и вы почти не жили дома. Встретив нас с Татьяной Павловной, вы протянули только: а! и даже не остановились.

— Он с особенною любовью описывает, — заметил Версиров, обращаясь к Татьяне Павловне; та отвернулась и не ответила.

— Я как сейчас вас вижу тогдашнего, цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти девять лет, уж простите эту откровенность; впрочем, вам и тогда было уже лет тридцать семь, но я на вас даже загляделся: какие у вас были удивительные волосы, почти совсем черные, с глянцевитым блеском, без малейшей седины; усы и бакены ювелирской отделки — иначе не умею выразиться; лицо матово-бледное, не такое болезненно бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую я имел честь давеча видеть; горящие и темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись. Вы именно рассмеялись, осмотрев меня, когда я вошел; я мало что умел тогда различать, и от улыбки вашей только взвеселилось мое сердце. Вы были в это утро в темно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе, цвета сольферино, по великолепной рубашке с алансонскими кружевами, стояли перед зеркалом с тетрадью в руке и выработывали, декламируя, последний монолог Чацкого и особенно последний крик:

Карету мне, карету!

3

— Ах, боже мой, — вскрикнул Версиров, — ведь он и вправду! Я тогда взялся, несмотря на короткий срок в Москве, за болезнь Жилейко, сыграть Чацкого у Александры Петровны Витовтовой, на домашней сцене!

— Неужто вы забыли? — засмеялась Татьяна Павловна.

— Он мне напомнил! И признаюсь, эти тогдашние несколько дней в Москве, может быть, были лучшей минутой всей жизни моей! Мы все еще тогда были так молоды... и все тогда с таким жаром ждали... Я тогда в Москве неожиданно встретил столько... Но, продолжай, мой милый: ты очень хорошо сделал на этот раз, что так подробно напомнил...

— Я стоял, смотрел на вас и вдруг прокричал: «Ах, как хорошо, настоящий Чацкий!» Вы вдруг обернулись ко мне и спрашиваете: «Да разве ты уже знаешь Чацкого?» — а сами сели на диван и принялись за кофей в самом прелестном расположении духа, — так бы вас и расцеловал. Тут я вам сообщил, что у Андроникова все очень много читают, а барышни знают много стихов наизусть, а из «Горе от ума» так промеж себя разыгрывают сцены, и что всю прошлую неделю все читали по вечерам вместе, вслух, «Записки охотника», а что я больше всего люблю басни Крылова и наизусть знаю. Вы и велели мне прочесть что-нибудь наизусть, а я вам прочел «Разборчивую невесту»:

Невеста-девушка смышляла жениха.

— Именно, именно, ну теперь я всё припомнил, — вскричал опять Версиров, — но, друг мой, я и тебя припоминаю ясно: ты был тогда такой милый мальчик, ловкий даже мальчик, и клянусь тебе, ты тоже проиграл в эти девять лет.

Тут уж все, и сама Татьяна Павловна, рассмеялись. Ясно, что Андрей Петрович изволил шутить и тою же монетою «отплатил» мне за колкое мое замечание о том, что он постарел. Все развеселились; да и сказано было прекрасно.

— По мере как я читал, вы улыбались, но я и до половины не дошел, как вы остановили меня, позвонили и вошедшему слуге приказали попросить Татьяну Павловну, которая немедленно прибежала с таким веселым видом, что я, видя ее накануне, почти теперь не узнал. При Татьяне Павловне я вновь начал «Невесту-девушку» и кончил блистательно, даже Татьяна Павловна улыбнулась, а вы, Андрей Петрович, вы крикнули даже «браво!» и заметили с жаром, что прочти я «Стрекозу и Муравья», так еще неудивительно, что толковый мальчик, в мои лета, прочтет толково, но что эту басню:

Невеста-девушка смышляла жениха,
Тут нет еще греха...

«Вы послушайте, как он выговаривает: „Тут нет еще греха“!» Одним словом, вы были в восхищении. Тут вы вдруг заговорили с Татьяной Павловной по-французски, и она мигом нахмурилась и стала вам возражать, даже очень горячилась; но так как невозможно же противоречить Андрею Петровичу, если он вдруг чего захочет, то Татьяна Павловна и увела меня поспешно к себе: там вымыли мне вновь лицо, руки, переменили белье, напомадили, даже завили мне волосы. Потом к вечеру Татьяна Павловна разрядилась сама довольно пышно, так даже, что я не ожидал, и повезла меня с собой в карете. Я попал в театр в первый раз в жизни, в любительский спектакль у Витовтовой; свечи, люстры, дамы, военные, генералы, девицы, занавес, ряды стульев — ничего подобного я до сих пор не видывал. Татьяна Павловна заняла самое скромное местечко в одном из задних рядов и меня посадила подле. Были, разумеется, и дети, как я, но я уже ни на что не смотрел, а ждал с замиранием сердца представления. Когда вы вышли, Андрей Петрович, я был в восторге, в восторге до слез,— почему, из-за чего, сам не понимаю. Слезы-то восторга зачем? — вот что мне было дико во все эти девять лет потом припоминать! Я с замиранием следил за комедией; в ней я, конечно, понимал только то, что *она ему* изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он — велик, велик! Конечно, и подготовка у Андроникова способствовала пониманию, но — и ваша игра, Андрей Петрович! Я в первый раз видел сцену! В разъезде же, когда Чацкий крикнул: «Карету мне, карету!» (а крикнули вы удивительно), я сорвался со стула и вместе со всей залой, разразившейся аплодисментом, захлопал и изо всей силы закричал «браво!». Живо помню, как в этот самый миг, точно булавка, вонзился в меня сзади, «пониже поясницы», разъяренный щипок

Татьяны Павловны, но я и внимания не обратил! Разумеется, тотчас после «Горе от ума» Татьяна Павловна увезла меня домой: «Не танцевать же тебе оставаться, через тебя только я сама не остаюсь»,— шипели вы мне, Татьяна Павловна, всю дорогу в карете. Всю ночь я был в бреду, а на другой день, в десять часов, уже стоял у кабинета, но кабинет был притворен: у вас сидели люди, и вы с ними занимались делами; потом вдруг укатили на весь день до глубокой ночи — так я вас и не увидел! Что такое хотелось мне тогда сказать вам — забыл конечно, и тогда не знал, но я пламенно желал вас увидеть как можно скорей. А назавтра поутру, еще с восьми часов, вы изволили отправиться в Серпухов: вы тогда только что продали ваше тульское имение, для расплаты с кредиторами, но все-таки у вас оставался в руках аппетитный куш, вот почему вы и в Москву тогда пожаловали, в которую не могли до того времени заглянуть, боясь кредиторов; и вот один только этот серпуховский грубиян, один из всех кредиторов, не соглашался взять половину долга вместо всего. Татьяна Павловна на вопросы мои даже и не отвечала: «Нечего тебе, а вот послезавтра отвезу тебя в пансион; приготовься, тетради свои возьми, книжки приведи в порядок, да приучайся сам в сундучке укладывать, не белоручкой расти вам, сударь», да то-то, да это-то, уж барабанили же вы мне, Татьяна Павловна, в эти три дня! Тем и кончилось, что свезли меня в пансион, к Тушару, в вас влюбленного и невинного, Андрей Петрович, и пусть, кажется, глупейший случай, то есть вся-то встреча наша, а, верите ли, я ведь к вам потом, через полгода, от Тушара бежать хотел!

— Ты прекрасно рассказал и всё мне так живо напомнил, — отчеканил Версилов,— но, главное, поражает меня в рассказе твоём богатство некоторых странных подробностей, о долгах моих например. Не говоря уже о некоторой неприличности этих подробностей, не понимаю, как даже ты их мог достать?

— Подробности? Как достал? Да повторяю же, я только и делал, что доставал о вас подробности, все эти девять лет.

— Странное признание и странное препровождение времени!

Он повернулся, полулежа в креслах, и даже слегка зевнул, — нарочно или нет, не знаю.

— Что же, продолжать о том, как я хотел бежать к вам от Тушара?

— Запретите ему, Андрей Петрович, уймите его и выгоните вон, — рванула Татьяна Павловна.

— Нельзя, Татьяна Павловна, — внушительно ответил ей Версилов, — Аркадий, очевидно, что-то замыслил, и, стало быть, надо ему непременно дать кончить. Ну и пусть его! Расскажет, и с плеч долой, а для него в том и главное, чтоб с плеч долой спустить. Начинай, мой милый, твою новую историю, то есть я так только говорю: новую; не беспокойся, я знаю конец ее (13; 91 – 96).